

## ФИЛОСОФИЯ И ПОЗИЦИЯ КРИТИЧЕСКОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛА СЕГОДНЯ

Альмира Усманова

*По сути дела, система, в которой мы живем, не может ничего вынести, и отсюда вытекает ее неустрашимая хрупкость в каждой точке и в то же время ее сила как всеохватывающего подавления.*

Жиль Делез «Фигуры отсутствия»

Существует ли в Беларуси публичное пространство? То есть такое *пространство, место, способ, наконец, возможность* для выражения своей точки зрения на общество и происходящие в нем процессы? Для человека, знакомого не понаслышке с современной ситуацией в Беларуси, ответ может быть однозначно отрицательным. Между тем поиск оптимальной модели сосуществования человека и государства, экономики и культуры, развития социальных отношений и принятия политических решений отнюдь не является исключительной прерогативой специалистов в области права, политиков и тем более — государственных чиновников. Право на публичное высказывание и открытое обсуждение существующих в обществе проблем имеет (должен иметь) любой гражданин, независимо от возраста, пола, статуса, классового или этнической принадлежности. Все социальные практики могут и должны быть предметом публичной дискуссии и публичного выражения мнений. Как писал Джанни Ваттимо, «свободное общество — это общество, где человек может осознать себя существующим в “публичной сфере”, то есть сфере общественного мнения, свободной дискуссии и т. д., не затемненной догмами, предрассудками, суевериями»<sup>1</sup>.

Нынешнее белорусское государство не только не гарантирует нам права на свободу мышления и выражения нашего мнения, но, напротив, всячески пытается оградить от такой возможности, разделяя нас по удобным для надзора и наказания ячейкам, загоняя в русло готовых и «политически корректных» (то есть сообразованных с государственной идеологией) ответов и вопросов, стигматизируя все, что этой власти чуждо. Даже если несогласных совсем немного, их интересы должны быть репрезентированы, услышаны и приняты в расчет теми, кто правит, если они хотят управлять от имени «народа». Именно для этой цели — медиации общественных интересов и поиска общего языка — необходимо публичное пространство<sup>2</sup>. Если же возможно-

сти быть услышанным нет, а власть полагается только на себя саму, целенаправленно заглушая голос Другого, если пространства для диалога (при всем различии классовых и других интересов конкретных групп и индивидов) и подлинного межгруппового взаимодействия ограничены, то раньше или позже такого рода напряженность найдет другой выход<sup>3</sup>.

Наше сегодняшнее состояние – когда гражданское общество лежит в руинах, а за публичное высказывание, касающееся власти и людей, ее узурпировавших, можно поплатиться если не свободой, то материальным благополучием<sup>4</sup>, – напоминает состояние тяжело больного человека, организм которого борется за жизнь: в случае поражения ему грозит полный паралич (на фоне прогрессирующей амнезии), в случае успеха – длительное, но окончательное выздоровление. Возможно, вопрос о свободе слова и тем более об академических свободах сохранил значимость для очень малого круга людей, живущих в Беларуси и пытающихся выжить вопреки абсурдной логике режима, но даже этот малый круг разобщен и пассивен. Речь идет о тех, кто по роду деятельности и при любых обстоятельствах призван осуществлять функцию критического мышления и дистанции по отношению к любому политическому режиму.

Я говорю об интеллектуалах, о тех людях, которые могут сформулировать важные для своего времени вопросы, поставить под сомнение правомерность и полезность тех или иных действий власти; артикулировать некое видение мира, обобщить разрозненные явления и дать им имена, осознавая при этом не только собственную несвободу<sup>5</sup> и детерминированность условий речи, но и ответственность за публично высказанное мнение. Многие из нас привыкли считать, что критическую функцию электорат делегирует политической оппозиции, которая обязана задавать «неприятные» вопросы действующему режиму и вообще всячески обеспечивать баланс общественных интересов. Проблема, однако, в том, что оппозиция, будучи организованной в партии и движения, участвует в политической жизни по тем же правилам, что и власть, и потому некие фундаментальные принципы политического и социального устройства ею никогда не оспариваются: ведь когда оппозиция приходит к власти, в большинстве случаев она воспроизводит те же механизмы принятия и осуществления решений и пользуется теми же государственными репрессивными и идеологическими аппаратами. Объективная и последовательная критика власти возможна только с позиции субъекта, не участвующего в политической игре, действующего за рамками этого поля.

Как замороженные, в течение многих лет мы наблюдали молча, оставаясь в стороне, за полем политических баталий в Беларуси. Однако «мы» не означает «все», а находится «вне» – не значит сидеть сложа руки или делать вид, что нас это не касается. В начале 1970-х гг. Мишель Фуко, отвечая на вопрос о том, почему он «столь сильно» увлекается политикой, счел сам вопрос неуместным: «А отчего же это я не должен ею увлекаться? Какая слепота, какая глухота, какое идеологическое отупение были бы способны помешать мне увлечься, наверное, самым стержневым предметом для нашего существования, то есть

обществом, в котором мы живем... Ведь, в конце концов, сама суть нашей жизни состоит из политической жизнедеятельности общества, в котором мы находимся»<sup>6</sup>.

Видимо, пришла пора признать нашу ответственность за это ничегонеделанье — и осознать метафизическую вину, как писал Карл Ясперс, применительно к другим обстоятельствам и другой истории, имея в виду позицию человека, который бездействовал, продолжал заниматься своими делами, общаться и развлекаться как ни в чем не бывало в то самое время, когда другие расплачивались за то, что пытались сопротивляться незаметно подкрадывавшемуся террору. Впрочем, сознание своей ответственности — это первый признак пробуждающейся в обществе политической свободы<sup>7</sup>.

Возможно, само понятие «интеллектуала» несколько поистерлось от слишком частого употребления, особенно в последнее время, но замены ему пока нет. Говоря об этой группе людей, я думаю прежде всего о философах: ведь удел философа — рефлексия, мыслить — его призвание (а не только профессия). Философ — не «эксперт» в узком смысле этого слова, сфера его компетенции не задана жестко дисциплинарными рамками (кто возьмется сегодня определить, где начинается и где заканчивается философия? и как это можно доказать?); к тому же публичная речь еще с античных времен была чуть ли не главной обязанностью человека, посвятившего себя этому роду деятельности. В моем представлении философское высказывание является политическим жестом, одно подразумевает другое.

Впрочем, весь этот разговор может упереться в глухую стену непонимания, а точнее — в такое понимание философии, которое воцарилось на кафедрах белорусских университетов и институтов и вследствие которого сотни «философов» озабочены лишь тем, чтобы провести никому не нужные лекции и отчитаться «за науку» никому не интересными тезисами; для них важно, чтобы философия не оказалась политически вредной дисциплиной и чтобы она оставалась настолько в стороне от жизненных реалий, насколько это возможно.

Перестройка и гласность, казалось, проделали необходимую негативную работу по уничтожению прежних «идолов», но опыт автономного мышления требует более продолжительного времени и определенных личных усилий. Вслед за российским теоретиком Виктором Мизиано хотелось бы спросить: «Почему у нас не формируется рефлексизирующий субъект, способный не просто отождествить себя с одной из сторон, а отстраненно вести диалог с политическим процессом?»<sup>8</sup>. Мизиано с горечью констатирует: наша интеллигенция была «счастлива тем, что ее просто не трогают», она радовалась тому, что можно «съездить в Париж, почитать лекции в Америке, перехватить грантик у Сороса, почитать Деррида на русском языке. У мыслящего класса в России нет никаких социальных амбиций: он такой же банкрот, как наше государство. [...] Интеллигенция ничего не говорит. И ее никто и не спрашивает»<sup>9</sup>.

Итак, что может и должен делать интеллектуал сегодня, *здесь и сейчас*, каковы могут и должны быть его отношения с «народом», с

одной стороны, и с властью, с другой – вот ключевой вопрос, обусловивший появление этой статьи. В чем значение этого феномена, в чем его полезность применительно к нашей конкретной ситуации? Несмотря на то что эта тема кажется по меньшей мере банальной (о критических интеллектуалах сегодня не говорит только ленивый), на самом деле, когда мы начинаем осмысливать ту действительность, в которой живем и пытаемся работать, то оказывается, что вопрос этот является той лакмусовой бумажкой, по которой мы можем судить о том, что с нашей культурой и политикой произошло. Потому что критический интеллект как необходимый персонаж на сцене публичной жизни в демократических обществах отсутствует у нас в стране. Университетские преподаватели или академические сотрудники не играют никакой роли в формировании публичного пространства (в худшем случае власть использует их – историков, политологов, философов – как «экспертов», когда возникает необходимость символической легитимации того или иного действия), которое отдано «на откуп» не всегда хорошо образованным политикам и еще хуже образованным журналистам (и у тех, и у других к тому же весьма специфические представления об этике и ответственности). Таким образом, данная статья является попыткой понять, какими фатальными последствиями данное отсутствие чревато в современной Беларуси как для власти, так и для людей, занимающихся интеллектуальной деятельностью профессионально.

### Интеллектуальные типажи

Было бы наивно полагать, что «критический интеллект» – понятие статичное, самодостаточное и универсальное. Например, в русском языке и культуре этот термин так и не получил «прописки», то есть подходящего эквивалента. Слово «интеллигенция» не в счет: сегодня оно указывает всего лишь на воспитанного человека с образованием и совестью (на бытовом уровне «интеллигентность» ассоциируется также с безденежьем, слабохарактерностью и бескорыстной любовью к культуре). Оно давно уже не отсылает ни к какой социальной группе («прослойке») и не подразумевает эталона неконформистского поведения. Скорее, наоборот: сегодняшний интеллигент (например, учитель) – это человек, который только в самом крайнем случае решится на то, чтобы бросить вызов системе (и не происходит этого потому, что «система» платит ему деньги, без которых он прожить не сможет).

Собственно говоря, представление об интеллигенте, который ангажирован властью, досталось нам в наследство от советской эпохи, и, может быть, именно поэтому само слово выглядит сильно скомпрометированным, хотя в работах Антонио Грамши или Жан-Поля Сартра проблема «ангажированности» и «органического интеллектуала» выглядит вовсе не такой уж однозначной. Да и с историей советской интеллигенции все не так просто: интеллигенция 1920-х гг. «соглашалась» с советской властью после мучительных раздумий и сомнений в правоте прежнего режима, определенную свободу мышления некоторые люди сохраняли и при сталинском режиме, а в 1960-е появились диссиденты.

Диссидентство можно рассматривать как явление переходного порядка: с одной стороны, это была интеллигенция, у которой с советской властью были не только «стилистические разногласия» (именно из этой среды вышли многие известные правозащитники), с другой — большинство «инакомыслящих» предпочитало тихо уехать, не особенно рассчитывая на то, что им удастся изменить ситуацию изнутри. А на излете советской эпохи инакомыслие и вовсе превратилось в профессию, что заставляет сегодня задумываться о тех коллизиях, к которым приводит самоорганизация протестного движения: иногда, чтобы иметь право на критику, необходимо оставаться вне партий и движений или же вступать лишь во временные союзы, чтобы не становиться заложником как «партийной линии», так и самой функции представительства. И все же именно диссиденты, ушедшие в «нравственную оппозицию», создали прецедент, ведя себя «как свободные люди в несвободной стране»<sup>10</sup>, и стали действительно значимыми общественными фигурами, с чьим мнением должна была в конце концов считаться и советская власть.

Так или иначе, но интеллигент — это культурный герой другой, ушедшей эпохи. Той самой, когда быть интеллектуалом (воспользуемся этим словом, хотя это будет и не вполне корректно) означало быть «всеобщей совестью» и выражать «всеобщие ценности»<sup>11</sup>. Собственно говоря, классическим воплощением такого типа являлся писатель — в идеале, свободный субъект, человек, не состоявший на государственной службе (хотя, возможно, зарабатывавший на жизнь своим «ремеслом»). Кстати, в диссидентской среде как в Советском Союзе, так и в других соцстранах писателей было, может быть, больше, чем представителей других профессий, что не удивительно, поскольку именно слово становилось основной формой борьбы. Как говорил Сартр, слова могут разрушать. «Так бывает, например, когда слова начинают жить публичной жизнью, то есть открыто, официально, когда они заставляют видеть или предвидеть вещи, существовавшие до этого в неявном, спутанном и даже вытесненном состоянии. Предъявить, вытащить на свет, произвести — это немало».<sup>12</sup> Искусство и литература в целом были теми сферами, где инакомыслие находило не только питательную почву, но и адекватный способ выражения (именно из такой среды вышел, например, Вацлав Гавел и некоторые другие лидеры постсоветских государств).

На Западе, между тем, еще до советского диссидентства появился новый тип интеллектуала — «интеллектуал-специалист», или человек, у которого есть профессия, эксперт в своей области знания. Собственно говоря, основное отличие интеллектуала от интеллигента состоит в том, что интеллектуал определяется не по состоянию души, а по своей профессиональной идентичности. Можно даже сказать, что его отношение к культуре и истине опосредовано деньгами, то есть интеллектуальная деятельность — его хлеб. Однако это такой вид деятельности, который не исчерпывается отношениями знания в обмен на деньги. Фуко определяет нового интеллектуала следующим образом: «это тот, кто использует свое знание, свою специализацию, свою связь с истиной (все то, что включено в понятие “интеллектуальная деятельность”) ради политической борьбы»<sup>13</sup>. Новый тип интеллектуала-специ-

алиста появился после Второй мировой войны, и этот феномен связан с физиками-атомщиками. Именно тогда, говорит Фуко, интеллеktуал впервые подвергся преследованиям со стороны политической власти не за общие рассуждения, но за конкретное знание, носителем которого он являлся, ибо как раз именно на этом уровне он представлял политическую опасность<sup>14</sup>. В Советском Союзе эта тенденция дала о себе знать в судьбе физика А. Сахарова.

Почему власть так болезненно реагирует именно на людей интеллектуальных профессий (не обращая особого внимания на инакомыслящих дворников<sup>15</sup>)? Ее пугает перспектива свершения переворота в ментальных структурах, того, что можно назвать символической революцией. Как писал Пьер Бурдьё, «производители культуры обладают специфической властью, властью чисто символической, заставить видеть или верить, пролить свет, сделать эксплицитным, объективированным опыт, в большей или меньшей степени спутанный, неясный, не сформулированный и даже неформулируемый, о природном и социальном мире и тем самым заставить его существовать. Они могут поставить эту власть на службу господствующим. Они могут также в логике своей борьбы в поле власти поставить ее на службу подчиненным в социальном поле, взятом в его совокупности»<sup>16</sup>.

Несмотря на то что многие из нас продолжают ностальгировать по великим «интеллектуалам-универсалам» (М. Фуко), по писателям, чье слово значило больше, чем мнение всех политиков вместе взятых<sup>17</sup>, в современной ситуации, в том числе и в Беларуси, существует потребность именно в интеллектуалах-специалистах, или в людях, чья публичная деятельность и репутация выступают дополнением или продолжением их профессиональной деятельности и репутации в академических кругах. Профессионализм дает право на публичное высказывание. Если бы Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Мишель Фуко, Жак Деррида, Юрген Хабермас, Умберто Эко, Джудит Батлер, Пьер Бурдьё, Эдвард Саид не были признаны как исследователи, как люди с высокой академической репутацией, то их публичное слово вряд ли имело бы такой резонанс в общественном мнении.

### Профессионализм как условие внутренней свободы

Очевидно, что в Беларуси (да и в России) нет интеллектуалов, признанных философов или социологов такого уровня, как нет и заинтересованных взаимоотношений между академией и масс-медиа. Но дело не только в отсутствии отдельно взятых выдающихся личностей, а в общем чрезвычайно низком уровне профессионализма — «авторитетам» просто неоткуда взяться. Посещение магазина *Акадежкнига* пару недель назад навело меня на мысль о том, что в Беларуси философии больше нет (если она вообще была...), зато есть симуляция процесса мышления и имитация бурной научной деятельности: среди бесконечных рядов тоненьких, слепых, в невзрачных переплетах и с таким же невнятным содержанием книжек, изданных белорусскими философами и культурологами в последние лет пять, я не нашла ничего, что заставило бы

меня поверить в наличие живой и интенсивно развивающейся философской мысли и дискуссий<sup>18</sup>. Нельзя же в самом деле рассматривать в качестве таковых сотни учебных пособий (включая «конспект первокурсника» по философии, изданный, кажется, Гродненским университетом, — книжка, которая прямо-таки поразила мое воображение смелостью и оригинальностью замысла) или монографии про ценности в научном познании (видимо, философский прорыв тридцатилетней давности в области методологии научного познания под руководством В. Степина продолжает волновать умы и восприниматься как наиболее актуальная для современной философии проблематика...).

Профессионализм — понятие сложное, объемное, и определить его непросто прежде всего потому, что критерии очень сильно варьируются от страны к стране, от дисциплины к дисциплине, от сообщества к сообществу. К тому же определение «профессионализма» представляет собой, по сути, идеологическую операцию в борьбе за переопределение символического капитала (как сказал бы Бурдьё, сказать «это не...» — значит отказать в легитимном существовании, исключить из игры, отлучить). Осознавая все эти трудности в полной мере, я не ставлю перед собой такой сверхзадачи (и экспертом по социологии науки я тоже не являюсь), однако мне хотелось бы обозначить некоторые проблемные места современной белорусской гуманитаристики, касающиеся правил и способов организации интеллектуальной деятельности гуманитариев, — хотя бы тех проблем, которые видны «невооруженным глазом».

Итак, зададимся простым вопросом: как происходит инициация молодого гуманитария, его вхождение в профессию и благодаря каким факторам его дальнейшая карьера складывается удачно в соответствии с традиционными академическими мерками?

*Поступление в аспирантуру* зависит не столько от способностей поступающего, сколько от того, кто составит протекцию на кафедре (открытым конкурсом все это назвать трудно, так же как не является в строгом смысле слова «прохождением по конкурсу» и процедура утверждения в должности доцента или профессора). Если в американских университетах система отлажена таким образом, что поступать в «аспирантуру» или на работу рекомендуется не в том университете, где человек учился до этого, то в наших — все наоборот.

*Выбор темы диссертации и руководителя:* как правило, речь идет не столько о выборе, сколько о назначении и того и другого с учетом расклада сил на кафедре, общекафедральной научной темы (в реальности общекафедральная тема очень редко служит сплочению интеллектуальных сил кафедры, ее задача — объединить под одной громоздкой формулировкой интересы ведущих сотрудников) и политической конъюнктуры. При условии успешной сдачи кандидатских минимумов — по философии, иностранному языку и специальности — и наличия публикаций аспирант может выходить на защиту. И здесь начинается самое интересное. По правилам, которые устанавливает ВАК, диссертанту необходимо иметь определенное количество публикаций с соответствующей «апробацией» результатов на различных конференциях. При этом публикации включают в себя парочку статей в так называемых

рецензируемых журналах (тех, которые признает в качестве таковых ВАК), все остальное — тезисы.

*Публикации:* если посмотреть на научные отчеты большинства преподавателей вузов по гуманитарным специальностям, то можно увидеть, что в подавляющем большинстве они состоят из этих загадочных «тезисов». То, что на Западе функционирует как краткое резюме выступления на конференции и используется только для составления программы и отбора заявок, у нас фигурирует как полноценная публикация и, как правило, является текстом самого выступления. Что касается статей в рецензируемых журналах, то и здесь возникает не меньше вопросов: прежде всего под «рецензией» имеется в виду составленная кафедрой или научным руководителем на одном листике формальная отписка. На Западе солидный журнал — это тоже рецензируемый журнал, но: рецензия, так называемая *peer review*, заказывается самим журналом одному или нескольким специалистам в данной области (при этом имя рецензента не раскрывается автору статьи, благодаря чему не возникает коллизий межличностного плана), что позволяет добиться более или менее объективной оценки научного текста.

В Беларуси и так немного интересных и действительно читаемых журналов, например, в области философии и культурологии, но что примечательно: публикации ни в *Топосе*, ни во *Фрагментах* (пока они выходили), ни в *Перекрестках* не будут (насколько мне известно) засчитаны ВАК в качестве необходимых публикаций. Может быть, по этой причине многие думают, что в Беларуси нет ни одного журнала по философии (как утверждали участники круглого стола по национальной философии, организованного газетой «Советская Белоруссия» в марте этого года)? Между тем, опубликоваться в московских *НЛО*, *НЗ* или *Логосе* и тем более — в признанных западных изданиях для гуманитария гораздо более важно, чем отчитаться статьей за публикацию в *Вестнике БГУ*, который, кроме самой редакции, больше никого не интересует. Боюсь, что для местной ВАК статьи в западных *peer reviewed* журналах — это тоже никому не нужная и в нынешней идеологической атмосфере даже вредная самодеятельность.

*Подготовка к защите:* помимо требований, предъявляемых к самому тексту (который, кстати, в 3–4 раза меньше любой западной диссертации), человеку, который выходит на защиту, придется столкнуться с тем, что некоторые отзывы он будет писать сам, если не целиком, то хотя бы в виде «рыбы» — содержательной заготовки, которая послужит основой для «настоящей» рецензии. Уровень диссертаций все последние годы становился все более и более удручающим — хотя, возможно, это не столько падение уровня, сколько смещение системы координат, произошедшее вследствие расширения нашего интеллектуального горизонта за последние годы. Это, похоже, осознают и сами Советы по защитах, и в особенности ВАК, которая «заворачивает» защищенные диссертации уже не только по политическим, но и научным соображениям. ВАК видит свою миссию в том, чтобы держать профессиональную планку (правда, я убеждена, что она скорее выполняет функцию идеологического контроля), однако ее усилия тщетны:



многие диссертации, особенно в провинциальных вузах, тянут по своему уровню в лучшем случае на диплом. Мне приходилось рецензировать такие работы – вторичность во всем, абсолютное игнорирование современных интеллектуальных дискуссий (как если бы мы жили все еще за «железным занавесом»), отсутствие оригинальных мыслей. Многие не имеют понятия о состоянии дел в мировой гуманитаристике (в рамках своей специализации), да и знание иностранных языков все еще воспринимается как желательное, но необязательное условие научной деятельности. Впрочем, все это следствие нашей закрытости (и чем дальше, тем больше), безденежья институтов и ограниченности ресурсов для написания качественной работы. Плагиат – почти норма<sup>19</sup> (особенно по отношению к небелорусским авторам). Наши академические инстанции жестко следят за проведением «партийной линии» и соблюдением правил, связанных с оформлением текста, но к качеству интеллектуальной работы все это не имеет никакого отношения.

*Защиты диссертаций* осуществляются в Советах, составы которых не меняются годами и не зависят от темы защищаемой диссертации. Члены этих Советов, как бы они ни были хороши (или не хороши) по отдельности, часто оказываются не в состоянии адекватно оценить обсуждаемую работу просто потому, что один человек не может быть специалистом во всем. Как известно, в западных университетах комиссии по защите малочисленны (это 3–4 человека), но создаются они специально под диссертанта, для этого приглашаются специалисты из других университетов (иногда и других стран). В итоге, для защищающегося мнение именно этих людей значит гораздо больше, чем мнение 15 человек с академическими званиями, которые и работ-то, как правило, никогда не читают. Хорошо, если успеют просмотреть автореферат.

Почему в наших университетах не представима такая форма защиты диссертаций, к которой давно уже пришли многие западные университеты? Можно ограничиться коротким ответом: потому что у нас нет университетской автономии, и академические свободы здесь – пустой звук. Мы имеем дело со специфической и очень ригидной конфигурацией системы власти-знания: и Советы по защитам, и ВАК, якобы призванная соблюдать все правила и гарантировать качество квалификационной работы, являются анахронизмами, пережитками прежней системы, которые давно не имеют никакого смысла для диссертантов (и даже для членов этих институциональных образований), но сохраняют изначальный смысл для государства, которое таким образом всегда имело возможность контролировать университетскую жизнь. Однако принять на себя ответственность за качество защищаемой работы могут лишь люди, которые: 1) действительно являются профессионалами в своей области; 2) не словом, а делом следуют идеалам неподкупности и объективности – так, чтобы защита в узком кругу не превратилась в междусобойчик нескольких людей, находящихся друг с другом в приятельских отношениях. Таких людей у нас пока немного, а приглашать специалистов извне – накладно.

Эти и многие другие практики инициации и способы выстраивания карьеры не меняются десятилетиями, все о них знают, но ничего не

происходит, разве что постоянно «совершенствуются» бюрократические процедуры и требования. В общем, ситуация с профессионализмом и качеством в Беларуси настолько удручающая, что порой кажется: гораздо проще и эффективнее построить нечто новое, чем пытаться реформировать полуразложившуюся и ригидную систему. Собственно говоря, поэтому-то и появился ЕГУ.

В том что касается качества преподавания гуманитарных дисциплин, то здесь я ограничусь лишь некоторыми наблюдениями. В наших вузах пока так и не стало правилом, чтобы преподавание было напрямую связано с исследовательской работой. Конечно, это во многом обусловлено той огромной нагрузкой, которую преподавателям (работающим на ставку) приходится выполнять (западному преподавателю университета не понять, как эта нагрузка может составлять 700–800 часов в год), а также с насущной для всех нас проблемой зарабатывания денег. В результате высшая школа все больше походит на конвейер, где запускаются в массовое производство и потребление морально устаревшие и никому особенно не нужные образцы. Я думаю, что у каждого преподавателя есть свой ответ на вопрос, как остаться в профессии, но при этом быть в состоянии обеспечить себя и свою семью хотя бы самым необходимым. Мне представляется, что растрачивание сил и времени на бесконечные приработки преподаванием в разных местах в конечном счете лишает преподавателя возможности профессионального роста<sup>20</sup> и делает его зависимым от системы и произвола администраторов, поскольку такой преподаватель (не повышающий систематически, каждодневно, свою квалификацию и не занимающийся научными исследованиями) не связан с профессиональным сообществом вне своей кафедры и всегда уязвим на рынке труда.

Очевидно, что провинциализм и мелкотемье, проявляющиеся в формулировках научных тем, в выборе теоретических подходов и методов исследования, в количестве и качестве издаваемых книг и переводов; множество совершенно архаических конвенций и ритуалов; кафедральные иерархии, определяемые не научным авторитетом, а близостью к «телу государя»; плагиат, ставший массовым явлением, и в целом репутация нашей гуманитаристики за рубежом – это не случайность, а следствие специфической организации интеллектуальной деятельности, сложившейся еще в советские времена.

### Инакомыслие как инакословие, или О лингвистическом насилии

Как отмечали П. Вайль и А. Генис, инакомыслие в советской диссидентской среде проявлялось прежде всего в «инакословии». Внимательному человеку не трудно заметить, что в сегодняшней Беларуси человека, несогласного с режимом, так же выдаст язык. Дело вовсе не в том, будет это белорусский или русский язык<sup>21</sup>, скорее, его отличительной особенностью будет рефлексивное отношение к языку в целом – как к интонации, так и к содержанию произносимого. И напротив, речь сторонников действующей власти основательно засорена той фашизоидной лексикой («грантососы», «вшивые блохи», «иностранный похоть»),

«высокопоставленные педофилы» и т. п.), которая характерна для «языка власти» и которую мы ежедневно слышим в эфире белорусского телевидения.<sup>22</sup>

Анализ политического дискурса в современной Беларуси заслуживает отдельного исследования, но, в связи с тем что проблема языка тесно связана с формированием публичного пространства, хотелось бы поделиться здесь некоторыми размышлениями. Прежде всего, следует вспомнить о том, что язык является весьма эффективным и не требующим привлечения репрессивного аппарата средством идеологической обработки масс. Отношения слов и вещей (проблема референтности высказываний), размывание границ приватной и публичной речи (как, например, квалифицировать высказывания, обращенные к министрам: «Я с вас шкуру спущу!»), риторические обороты и приемы, введенные А. Лукашенко, избобретение «новояза», установление правил коммуникации в среде чиновников и президента с «народом», использование метафор, сравнений, штампов, местоимений (аффективная сила обращения на «ты» или говорение о себе в третьем лице), эмотивные функции языка и значение интонации, отсутствие и боязнь иронии (поскольку она ведет к двусмысленности и свободе) — все это вопросы, которыми следовало задаться уже давно, чтобы воссоздать «филологию [нашего] несчастья».

Немецкий филолог Виктор Клемперер, великолепная книга которого *ЛГ1. Язык Третьего Рейха* (1946) порождает массу ассоциаций, писал, что «слова могут уподобляться мизерным дозам мышьяка: их незаметно для себя проглатывают, они вроде бы не оказывают никакого действия, но через некоторое время отравление налицо»<sup>23</sup>. Подмечая повсюду одни и те же штампы, одну и ту же интонацию, распространение стиля «базарного агитатора-крикуна», он говорит: «Нацизм вьедался в плоть и кровь масс через отдельные словечки, обороты речи, конструкции предложений, вдалбливаемые в толпу миллионными повторениями и поглощаемые ею механически и бессознательно»<sup>24</sup>. Не осознавая этой опасности, немцы довольно скоро оказались уже в другой реальности: «книги и газеты, служебная переписка и бюрократические формуляры — все плавало в одном и том же коричневом соусе».<sup>25</sup> Но самое страшное заключалось в том, что символическое насилие было тотальным — на этом языке заговорили даже евреи.

И хотя я не думаю, что сравнивать нынешний белорусский режим с ситуацией в нацистской Германии правомерно, однако, в том что касается некоторых аспектов функционирования и укрепления тоталитарной машины, параллели вполне уместны. Прежде всего это касается дискурса и способов репрезентации лидера нации (советский партийно-бюрократический режим был в гораздо большей степени анонимным, формализованным и «благопристойным», хотя бы внешне). Возьмем в качестве примера набившее всем оскомину систематическое манипулирование понятием «народ», к которому А. Лукашенко обращается, как правило, за символической поддержкой. Очевидно, что президент воспринимает себя как всенародно избранного и потому репрезентирующего не партии или классы, а весь народ. «Ты — ничто,

народ твой – все» – гласил, кстати, один из лозунгов на ЛТІ. Клемперер отмечает, что в речах и дневниках нацистских лидеров до тошноты подчеркивается связь всех вещей, обстоятельств, лиц с народом (дневник Геббельса кишел такими производными, как «друг народа», «народный канцлер», «враг народа», «близкий народу», «чуждый народу», «народное сознание» и т. д. до бесконечности)<sup>26</sup>.

Во всех случаях конструкция «народ» предстает как весьма загадочное понятие – поскольку это все вместе и никто по отдельности. В то же время и нацистская риторика «народности», и популистская идеология белорусского режима явно или неявно направлены против городской, интеллигентской прослойки («людей асфальта» на языке ЛТІ), выражая убежденность в том, что желание народа может угадать только лидер нации, тогда как «буржуазный интеллигент» ничего в нем не понимает. Исключение одних групп и привилегированное положение других обусловлено в данном случае не столько сознательными намерениями говорящего субъекта, сколько выбором слова, которое исторически и политически всегда нагружено. Так, слово «народ» со времен народовольцев употреблялось как лозунг в специфическом конкретном значении: народ – это простой народ, то есть крестьянство. Между прочим, Ленин словом «народ» не пользовался (несмотря на то что он был искусственным оратором), поскольку относил его к тем «благородным словам», которые, «по всей вероятности, мошенники», и критиковал политических оппонентов за манипуляцию этим словом: «“Земля всему народу”. Это правильно. Но народ делится на классы. Каждый рабочий знает, видит, чувствует, переживает эту истину, умышленно затираемую буржуазией и постоянно забываемую мелкой буржуазией» (курсив мой. – А. У.)<sup>27</sup>.

Почему белорусской власти выгодно обращаться к «простым людям» и апеллировать к «народу»? Во-первых, она обращается к той аудитории, которая или во всем согласна с властью, или просто не может проявить свое несогласие. Жители городов (как люди с более высоким уровнем образования, доходов и мобильности), как правило, способны заявить о себе в некоем публичном месте или неким публичным жестом (демонстрации, акции flash mob и другие формы перформативного протеста), жители же провинции разобщены и, несмотря на свою многочисленность, представляются/оказываются «молчаливым большинством» – анонимным и молчаливым образованием, которое вообще не имеет возможности сказать что-либо о себе самом и от первого лица. С другой стороны, в условиях дефицита легитимности власти прямая отсылка к народу («демосу») должна постоянно напоминать о демократичности власти, о том, что и кого она репрезентирует.

Жан-Жак Руссо считал, что истинный политик – это оратор, который обращается к народу, собравшемуся на рыночной площади, при этом спортивные и художественные мероприятия, в которых участвует народное сообщество, суть политические институты и средства для привлечения людей. Благодаря масс-медиа все эти формы общения с народом становятся еще более действенными: «Теперь с помощью радио и ТВ ограниченный пространством метод древних и Руссо распростра-

нен на безграничное пространство, вождь реально и персонально обращается теперь “ко всем”, даже если этим “всем” счет идет на миллионы, даже если отдельные группы этих “всех” находятся за тысячи километров друг от друга». <sup>28</sup> Каждое выступление Лукашенко (перед детьми, рабочими на заводе, министрами, иностранными послами) всегда обращено к «народу», поэтому его речь подчиняется другим правилам, нежели речи политиков-дипломатов: она совращает и «оглушает», вызывает не к разуму, а к чувствам, она конкретна, эмоциональна и понятна всем — от высокопоставленных чиновников до деятелей культуры и сельских пенсионеров.

Частое употребление слова «народ», апелляция к нему в политическом дискурсе маскирует отсутствие демократических процедур управления в реальной жизни и нехватку легитимности действующей власти. Можно даже сказать, что злоупотребление словом «народ» является очевидным признаком наступившей диктатуры. Вспомним о том, что сталинская конституция 1936 года зафиксировала наступление бесклассового общества: субъектом (пролетарского) Государства являлся отныне не рабочий класс, а *народ*. Однако это не означает, как пишет Славой Жижек, что «сталинская конституция была простым лицемерием, скрывавшим социальную реальность: возможность террора была вписана в ее суть [...]. Выступавшие против режима были теперь не просто классовыми врагами в борьбе, раздирающей социальное тело на части, но врагами народа, насекомыми, ничтожной грязью, лишенной человеческих качеств». <sup>29</sup>

Интересно, что БТ пытается визуализировать гомогенность и одновременно бесклассовый характер белорусского «народа» посредством блиц-интервью: на экране мелькают лица пожилых и молодых, семейных и одиноких, сельских жителей и горожан, но кто бы они ни были — в смонтированной версии они предстают как монолитный и единый в своих суждениях «народ», опора и гарант легитимности действующей власти. И уже не только официальные СМИ, но и сам «народ» знает, кто теперь является его «врагом» <sup>30</sup>. Так что благодаря слову «народ» мы имеем дело с весьма специфическим способом представительства: масс-медийная репрезентация подменяет собой, или, точнее, узаконивает «репрезентацию» политическую.

### Идеологические фантазмы власти

Наш «интеллектуальный дефолт» наиболее отчетливо проявился в истории с курсами по идеологии. Сам факт введения этих курсов красноречиво свидетельствует о том, что в нашем «королевстве» нечто настолько основательно «прогнило», что у людей, которые изучали в свое время историю КПСС, исторический материализм, научный коммунизм и политэкономию государства (в конце концов потерпевшего столь сокрушительное экономическое и политическое фиаско), начисто отшибло память об этом травматическом опыте, и вследствие этой странной амнезии они теперь полагают, что идеологию можно и нужно не только разрабатывать, «концептуально» обосновывать, но и

преподавать молодому поколению. Стоит ли удивляться, что самое видное место в наших книжных магазинах теперь отведено под разнообразные — изданные на дорогой бумаге и с полноцветными обложками — учебники по идеологии (стоят там же и написаны теми же авторами, которые до этого успешно занимались конфликтологией, экологией, методологией и пр.). С какой же легкостью реанимировалась сервильность в университетской среде, конформизм, готовность к демонстрации лояльности политическому режиму — и это в сегодняшних условиях, когда границы все-таки проницаемы и у многих людей есть хоть какой-то опыт интеллектуальной свободы. Парадокс в другом: сама абсурдность идеи (разработки государственной идеологии и внедрения одноименных курсов) не была подвергнута публичному осмеянию. Думаю, что те, кто это решение принимали, и слыхом не слыхивали ни про Альтюссера, ни про Жижека, да и Маркса, видимо, читали давно и невнимательно.

Весной 2004 г. Министерство образования выпустило уникальный по нелепости документ под названием «О неотложных мерах по организации идеологической работы в вузах» (№ 283)<sup>31</sup>, в котором министр (А. Радьков), в частности, «приказывал»: возобновить проведение политинформаций как для студентов, так и преподавателей с «использованием современных интерактивных технологий»; разъяснить как следует «роль личности Президента Республики Беларусь» в «олицетворении единства нации»; усилить контроль за поступлением средств из различных общественных и зарубежных фондов и за реализацией международных образовательных программ; обеспечить участие студентов и преподавателей «в патриотических акциях под девизом «Подвиги отцов — в наследство сыновьям» (а почему не «подвиги матерей — в наследство дочерям?»)). Среди всего прочего приказ предусматривал чтение курсов на темы: «Пол и культурное образование студенческой молодежи» и «Международное сотрудничество и поликультурное образование студенческой молодежи» (если переводить это на нормальный язык, речь идет о чтении курсов по гендерной тематике и мультикультурализму, однако, с учетом белорусской специфики). Приказ однозначно ставил крест на деятельности «незарегистрированных общественных объединений в вузах» и, соответственно, расчищал площадку для деятельности БРСМ, которому, согласно приказу Минобраз, следует оказывать «научно-методическое и организационное содействие». Однако наиболее примечательным, на мой взгляд, было предложение обеспечить участие студентов и преподавателей «в пропагандистских кампаниях “Гордимся белорусским”, “Купляйце беларускае”, “Здоровая нация — сильная нация”» и т. д. Нет ни малейшего сомнения в том, что все эти детально разработанные программы идеологического перевоспитания молодежи представляют собой попытку прикрыть голый зад — отсутствие содержательной идеи, которая убеждала бы сама, без сверхусилий власти и веры в то, что именно этим сейчас необходимо заниматься, когда на дворе уже давно другая эпоха.

Тем не менее сам по себе документ все же представляет интересную иллюстрацию к теории идеологии. Весь комплекс мер, нацеленных на

создание идеологической «брони» нынешнего режима, заставляет думать, что гуманитарное знание в тоталитарных обществах может поддерживаться государством только ради этой цели, при этом понимается оно сугубо утилитарно («Если вы больше ни для чего не пригодны, то займитесь хотя бы этим».) Как писал Альтюссер, «ни один класс не сможет эффективно удерживать власть в течение длительного времени, если им не будут своевременно созданы государственные идеологические аппараты, посредством которых будет осуществляться его гегемония».<sup>32</sup> Как только белорусская власть это осознала, то сразу же заинтересовалась состоянием умов в высшей школе и Академии наук. Ответственно, не принося прямых дивидендов, но будучи центральным элементом идеологического аппарата, гуманитарное знание в такой ситуации приобретает особый вес. Приоритетная же роль Минобразования связана с тем, что в современных государствах уже не церковь, как это было до XVIII века, но школа (и образование в целом) становится наиболее влиятельным инструментом идеологического воздействия.

Дело в том, что «школа» воспроизводит не только «способности к труду», но и «способности к подчинению существующему социальному порядку»<sup>33</sup>, то есть она дает не столько знания, сколько формирует субъекта, воспринимающего существующее положение вещей в качестве нормы. Именно благодаря слаженной работе всей системы образования (вместе с другими государственными идеологическими аппаратами) индивид постепенно превращается в субъекта, который, по мысли Альтюссера, оказывается «способен *свободно подчиняться* приказам» (курсив мой. — А. У.). Иначе говоря, он принимает свою подвластность, не осознавая этого, поскольку ему кажется, что он действует как свободный индивид, и начинает производить действия и жесты подчинения... уже по «собственному почину».

Что происходит затем? И Альтюссер, и вслед за ним Жижек утверждают, что существование идеологии осуществляется посредством *интерпелляции*: власть окликает субъекта, и он отзывается, поскольку признает себя тем, к кому обращен призыв<sup>34</sup>. Как только индивид распознает себя в «окликаемом», происходит его превращение в субъекта, уже подчиненного действующей идеологии. Между тем, учитывая, что «государственные идеологические аппараты» используют механизмы завуалированного, скрытого, символического насилия (в отличие от репрессивных аппаратов, таких как армия или тюрьма), то можно, в общем-то, и не «откликаться». В самом деле, не остановиться на сигнал полицейского чревата разнообразными проблемами — от штрафа до прямого физического насилия, но вот если к вам кто-то на улице обращается «эй, ты!», то этот призыв можно оставить без ответной реакции. В случае с приказами, подобными тому, который мы обсуждали выше, или другими абсурдными предложениями сверху (невыполнение которых не грозит человеку тюремным сроком и прочими суровыми вещами) можно было бы поступать именно так: просто игнорировать. Однако то, что мы наблюдаем, свидетельствует об обратном: достаточно главе государства резко высказаться в адрес «французенок с замызганными лицами», или Министерству образования озабо-

тить всех проведением политинформаций, как «субъект» уже с готовностью откликается (иногда даже с опережением), воспринимая призыв не только как обращенный к нему лично, но и как закон, который необходимо исполнять. Соглашательство и конформизм на каждом шагу, множество мелких уступок, на которые мы идем, делают идею гражданского неповиновения совершенно невозможной в нашей стране.

Все последние годы нам казалось, что дальше уже некуда, что предел уже достигнут, однако жизнь вокруг нас становилась все более и более абсурдной. Но очевидно (коль скоро приказ был принят к исполнению и никто открыто не возмутился), что для поддержания господствующего политического порядка совсем не обязательно сознательная вера в режим, достаточно лишь симулятивно исполнять его ритуалы и публично не ставить его под вопрос. В этом, как полагал Фуко, тайна и эффект власти. С другой стороны, закрытие ЕГУ, который воспитывал и поддерживал критически мыслящих людей (независимо от того, насколько активно они были вовлечены в политику), представляется мне в этой связи совершенно закономерным событием. Что и говорить: преподаватель ЕГУ, занимающийся проблемами философии искусства или герменевтикой, совершенно точно не взялся бы за чтение курса по Великой Отечественной войне и повертел бы пальцем у виска, если бы ему предложили сделать курс по идеологии...

### Identikit критического интеллектуала

Виктор Клемперер в свое время определил интеллектуалов как людей, «трезво и самостоятельно мыслящих»<sup>35</sup>. Полагаю, что автономное и самостоятельное мышление может быть рассмотрено нами как отличительная особенность «критического интеллектуала». Такое мышление проявляется в том, что мнение по тому или иному вопросу высказывается не с точки зрения господствующей идеологии или пресловутого «здравого смысла», что часто одно и то же. Кстати, последствия высказывания с позиций здравого смысла нередко внушают опасение, ибо здравый смысл — это не только редукция сложной проблемы к простому решению, но и, как результат, убеждение в том, что истина — всегда одна, что она лежит на поверхности и, следовательно, *других* истин быть не может. Скорее, мнение высказывается в данном случае с точки зрения *ratio* — правда, поскольку в нашу постметафизическую эпоху и это понятие сильно скомпрометировано, можно было бы говорить о высказывании с позиций определенного мыслительного опыта, рефлексии, допускающей и утверждающей множественность точек зрения.

Итак, с одной стороны, быть свободным от политики — невозможно (в этом смысле человек интеллектуальной профессии всегда и уже «ангажирован»<sup>36</sup>), с другой — необходимо сохранять критическую дистанцию по отношению к власти при любых условиях. Проще говоря, это означает, что интеллектуал — всегда в оппозиции к власти (вспомним Эдварда Саида: «I find myself instinctively on the other side of power»), он — всегда в меньшинстве (или с меньшинством).



Имеет ли в таком случае значение вопрос о том, каких политических взглядов он придерживается? Как правило, на Западе критический интеллектual — это всегда «левый», не обязательно коммунист и даже марксист. Сегодня определить, кого мы считаем «левым» теоретиком — вовсе не простая задача, особенно после распада Советского Союза (это событие повлекло за собой череду дискуссий о том, есть ли будущее у марксизма и какое оно должно быть, несмотря на то что западный марксизм почти столетие развивался совершенно независимо от того, как трактовали Маркса советские идеологи). Даже во Франции, для того «чтобы опознать левую мысль, люди тут же глядят на сноски внизу страницы».<sup>37</sup> Пожалуй, можно сказать, что к левым относятся и «зеленые», и феминисты, и пацифисты, и антиглобалисты, и многие другие люди, для которых понятие социальной справедливости — не пустой звук, в еще большей степени их всех объединяет критика капитализма. Критика левого интеллектuala всегда позиционирована таким образом, чтобы репрезентировать тех, кто *не имеет голоса* (то есть тех, кто не согласен, кто угнетен, кто в меньшинстве, кто маргинален, у кого нет денег и доступа к определенным ресурсам, в конце концов).

У нас «левый» интеллектual выглядит по меньшей мере странно: в стране, где сам президент только и говорит о защите наименее обеспеченных слоев населения (а сам тем временем строит свой белорусский государственный «капитализм»), где забота о пенсионерах, женщинах, молодежи и крестьянах в борьбе с мировым капиталом и глобализацией определяет весь политический курс. У нас «гонимым меньшинством» является «класс» собственников, бизнесменов и посредников — всех тех, кого можно охарактеризовать как «не-народ». Так что для нас сейчас актуальна любая критика, хоть справа, хоть слева, но вполне возможно, что критика слева, может быть, даже важнее — чтобы развеять иллюзии по поводу того социального строя, который с нашей помощью пытается построить власть.

Отдавая себе отчет в том, что единого и универсального определения «критического интеллектuala» не существует, можно, тем не менее, попробовать обозначить наиболее важные признаки (своего рода *identikit*) или особенности позиции критического интеллектuala: автономность и самостоятельность мышления; критическая дистанция по отношению к любой власти; чувство ответственности за поступки и слова; профессионализм; защита академических свобод и свободы слова; толерантность и терпимость к Другому; отстаивание плюрализма истин и мнений.

Критический интеллектual не претендует на роль «пророка в своем отечестве», но позиционирует себя как человек, способный сохранять дистанцию по отношению к власти и публично выражать свое несогласие с тем, что кажется ему этически или политически неприемлемым. Нам необходимо выработать то, что Деррида называл «неподкупным этосом» письма и мысли: этоса, «который ни перед чем не останавливается, даже перед философией; не боится ни общественного мнения, ни средств массовой информации; не робеет перед воображаемым читателем»<sup>38</sup>.

Не то чтобы в Беларуси не было такого человека, который мог плюнуть в глаза правящему режиму на виду у всех, чтобы затем героически поплатиться за такое безрассудство. Проблема в другом: критическое мышление — это плод каждодневных усилий, систематической работы, постоянного присутствия: общество должно привыкнуть к тому, что профессор философии если и не кладезь мудрости в привычном понимании, то во всяком случае — думающий человек, которому есть что сказать и власти, и обывателям; его миссия — побуждать думать других, не принимая на веру то, что им подсовывают ради экономических или политических интересов чиновники или депутаты<sup>39</sup>.

### Вместо заключения: что делать?

Власть и люди, ее поддерживающие (хотя бы декларативно), не устают подчеркивать, что нельзя критиковать того, кто платит тебе зарплату. Помнится, кто-то из лидеров БРСМ заявил в интервью *Белорусской газете*, что преподаватель, критикующий в аудитории государство и власть вообще, совершает чуть ли не преступление, ибо именно государство платит ему за работу. В ответ на это хотелось бы возразить: человеку, занимающемуся интеллектуальной деятельностью, именно за то и платят (как государство, так и различные научные фонды), чтобы он со здоровым «подозрением» относился ко всему, что его окружает, и «следовал императиву профессиональной компетенции и долга» (Ж. Деррида). Американский теоретик Кэри Нельсон писал, что если «мы не критикуем наше правительство в учебных аудиториях, то лучше бы нам всем уволиться»<sup>40</sup>. В Беларуси все наоборот: как только кто-то отважится покритиковать власть, то на следующий же день увольняется или сам, или по «просьбам трудящихся».

Словом, критический интеллектual выступает в роли двойного агента, и это двусмысленное положение (которое, кстати, далеко не всеми осознается, то есть даже не воспринимается как проблема) является как его преимуществом, так и его «несчастьем» — быть несогласным и выступать «против» всегда сложно, особенно в условиях диктатуры. Но критика, несмотря на часто высказываемые сомнения с разных сторон, всегда конструктивна, ибо она напоминает о существовании Другого, о том, что есть иная точка зрения, отличное от мнения большинства видение и понимание проблем. Такая критика должна быть слышна, даже если этих других голосов 1–2 %, а тем более когда их не менее 20 % (кажется, такая цифра несогласных фигурировала в официальных сведениях об итогах референдума 2004 года). Но представлены ли голоса хоть кого-нибудь из этих 20 % в публичной сфере? Может быть, в устных опросах граждан на улицах, которыми БТ так активно пользуется для того, чтобы лишний раз убедить нас всех в правильности курса? Или в аналитических передачах, в которых так много места и внимания уделяется тем, кто ни разу не удостоился права на высказывание от первого лица в этих передачах.

Увы, о том, что эта пятая часть населения страны думает на самом деле, мы можем узнать лишь из разговоров друг с другом или судить

по той полемике с невидимым Другим, которую ожесточенно ведут президент, люди из органов, МИД и «эксперты по демократии» в лице всяких прокоповых и красовских. Между тем, как писал Джанни Ватимо, «в диалоге с другим все, что говорит другой, должно восприниматься всерьез, а не в каком-то “усеченном” виде — как то, что следует “разоблачить”, заняв будто бы более истинную, превосходящую точку зрения».<sup>41</sup> Однако нашей власти до этого нет дела — она слышит только себя и живет в пространстве собственного фантазма.

Сегодня недостаточно считать себя «органическим» интеллектуалом и выражать интересы своего класса, направляя критику против другого класса и его органических интеллектуалов. Смысл интеллектуальной критики состоит в том, чтобы бороться против всех видов власти (этот вид речи против власти Фуко предлагает называть *контрдискурсом*). Как применить этот тезис Фуко к анализу нашей ситуации? Воспользуемся примером: когда конкретного преподавателя принуждают к проведению политинформации о роли личности белорусского президента, он думает: ничего страшного я не совершаю, с меня не убудет, если я кое-как («понарошку») проведу или же тихо саботирую это мероприятие. А между тем страшное уже произошло и подчинение системе уже состоялось, пусть даже и в такой ничтожной на первый взгляд ситуации. Так что Фуко прав: власть не локализована, она множественна, она не персонифицирована одним человеком, и потому бороться с ней означает бороться со всеми ее проявлениями. Бороться же — означает не только не повиноваться, но делать власть видимой, обнажать суть применяемых ею уловок и тактик.

Основная проблема белорусского «народа», на мой взгляд, состоит в том, что, даже когда Лукашенко уйдет, все вышеупомянутые проблемы не исчезнут в одночасье. В нашем обществе катастрофически не хватает людей со стилем и с хорошим образованием (возможно, это проблема нехватки городской культуры). Двадцатилетний застой на факультете философии БГУ и двенадцатилетний маразм в политике — явления одного порядка. Традиции «*servitude volontaire*» (добровольного рабства<sup>42</sup>), напомнившие о себе в том массовом порыве, который был продемонстрирован бывшими советскими философами в деле обоснования государственной идеологии, складывались десятилетиями.

«Власть удерживают отнюдь не правительства. [...] Еще необходимо выяснить, через какие передаточные механизмы и в каких, часто самых ничтожных, инстанциях иерархии, контроля, надзора, запрета и принуждения осуществляется власть».<sup>43</sup> Вспомним, как закрывали ЕГУ: одно решение принимал Радьков, другое решение — суд, третье — Управление делами, справку (об аттестации) составлял В. Самусевич, а из здания выселял какой-нибудь швондер. И даже если в конце концов Лукашенко делает публичное заявление о том, что министр Радьков тут ни при чем, поскольку политическое решение было принято им самим, тем не менее закрытие ЕГУ было делом «коллективным», в нем принимало участие много разных людей, и кто знает, что они при этом думали. Правда, слово «люди» здесь не совсем уместно, ибо чиновники — это функции, те самые «винтики», в роли которых могли оказать

ся совсем другие «люди». В итоге, коллективная ответственность за то, что со всеми нами происходит, оборачивается индивидуальной безответственностью каждого, кто в этом принимает посильное участие (о «метафизической виновности» и говорить не приходится). Стойкая привычка людей к конформизму, образовательные «стандарты», вообще вся организация академической и в целом социальной жизни — это, к сожалению, не следствие политического режима, а его причина.

Введенное Фуко понятие «микрофизика власти» как нельзя более точно описывает ситуацию, когда каждый из нас оказывается на микроуровне повседневных практик включенным в систему властного подавления и испытывает на себе разнообразие механизмов подчинения и контроля, а если даже и понимает это, то боится сказать об этом *вслух*. Поэтому согласимся с Фуко в том, что называть очаги власти, выявлять их, анализировать, говорить о них публично есть форма борьбы: взять слово по той или иной теме, «взломать сеть институциональной информации», сказать, кто что сделал (и объяснить, почему) есть первый шаг для других видов борьбы против власти.

Необходимо проанализировать и описать политическое бессознательное того режима, при котором нам выпало жить, и понять, с какими запретами и ограничениями (многие из которых не осознаются, но неукоснительно выполняются) мы имеем дело в нашей профессиональной деятельности и повседневной жизни. Тезис французских философов-«шестидесятников» о том, что «письмо есть подрывная деятельность», приобретает особый смысл в наших условиях, когда только печатным словом интеллигент может пробить себе дорогу в публичную сферу — высказаться на радио или телевидении ему при нынешней власти не удастся. Но если очаги власти множественны и на первый взгляд «как будто не видны», то такими же множественными могут быть очаги и стратегии сопротивления. Вацлав Гавел считал, что критика политики — это тоже политика... Самое главное — перестать бояться, особенно там и тогда, когда и бояться-то нечего.

### Примечания

<sup>1</sup> Джанни В. *Прозрачное общество*. М., 2003, С. 25.

<sup>2</sup> Анализ феномена «публичного пространства» выходит за рамки данной статьи (меня в данном случае интересует скорее проблема условий, возможности и эффектов публичного высказывания), однако следует заметить, что проблематичным этот феномен (и как концепт, и как историческая и социально-политическая реальность) является и для западных исследователей (см., в частности, такие работы, как: Lippman W. *The Phantom Public*. New York: Macmillan, 1927; Robbins Br. ed. *The Phantom Public Sphere*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993, и др.), многие из которых полагают, что публичное пространство, понимаемое как универсальное и открытое для рационального обсуждения взглядов всеми гражданами, уступило место пространству эстетической саморепрезентации (Уолтер Липпман), в котором «публичный человек» выступает скорее в роли зрителя, но не активного участника, а функции агоры, или рыночной площади, перешли к парламенту и масс-медиа. И все же «публичность» не утратила смысла. «Публичное», по мнению Ричарда Сеннета, с давних времен понималось как очевидное и открытое всеобщему обозрению (в отличие от «приватного», которое подразумевало укромную сторону жизни, ограниченную семьей и друзьями). «К тому времени, когда слово “публичное” об-

рело свое современное значение, оно означало не только сферу социальной жизни, расположенную вне пространства семьи и близких людей, но также то, что эта публичная сфера знакомых и посторонних включала относительно широкое разнообразие людей». Публичная сфера выполняла особую функцию общения, ибо здесь происходило социальное взаимодействие — «различные сложные социальные группы должны были неизбежно вступать в контакт». (См.: Сеннет Р. *Падение публичного человека*. М., 2003. С. 24–25.)

<sup>3</sup> См.: Бенхабиб С. *Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру*. М., 2003.

<sup>4</sup> Беларусь и здесь впереди планеты всей: любая критика в адрес президента может обернуться для человека уголовным преследованием, а суммы штрафов, наложенных на независимые СМИ за критику власти, ставят их на грань выживания. Власть наказывает своих оппонентов рублем, иностранцев (например, россиян) просто выдворяет вон. В государственных СМИ дело до критики любимых, даже очевидно абсурдных решений или высказываний президента или его окружения никогда не доходит: журналисты с гордостью заявляют, что они — профессионалы, и потому сами знают, о чем не следует говорить. Поскольку черные списки людей и тем, которые лучше не упоминать в эфире, продолжают расти, в недалеком будущем этим журналистам будет проще, а главное, честнее замолчать совсем.

<sup>5</sup> Это также и проблема «места», то, что можно обозначить как *situatedness* говорящего субъекта.

<sup>6</sup> Фуко М. *Интеллектуалы и власть*. М., 2002. С. 116.

<sup>7</sup> См.: Ясперс К. *Вопрос о виновности. О политической ответственности Германии*. М., 1999. С. 64.

<sup>8</sup> Мизиано В. «Я требую от власти ответственности!» // Логос, 6 (1996), 16. С. 9.

<sup>9</sup> Мизиано В. Указ. соч.

<sup>10</sup> Вайль П., Генис А. *60-е. Мир советского человека*. М., 1998. С. 178.

<sup>11</sup> См.: Фуко М. *Интеллектуалы и власть*. М., 2002. С. 201.

<sup>12</sup> Бурдые П. *Поле интеллектуальной деятельности как особый мир* // Бурдые П. *Начала*. М., 1994. С. 221.

<sup>13</sup> Фуко М. Указ. соч. С. 204.

<sup>14</sup> Там же, с. 203.

<sup>15</sup> Интересная деталь: Вайль и Генис, размышляя о неизбежности иерархизации и разложения диссидентского движения, отмечают, что дворников среди диссидентов не было, но если они и были, то никто о них ничего не знал. Поскольку «и советские власти, и западные радиостанции, и рядовые граждане интересуются “профессорами” и реагируют только на них».

<sup>16</sup> Бурдые П. Указ. соч. С. 217.

<sup>17</sup> Неслучайно смерть Василя Быкова была воспринята как симптом духовной безотцовщины и уход целой эпохи.

<sup>18</sup> Издания ЕГУ я здесь намеренно не обсуждаю, поскольку не они составляют большинство публикуемой в Беларуси литературы по гуманитарным наукам и не по этим академическим конвенциям живет вся остальная университетская среда.

<sup>19</sup> Я сама сталкивалась несколько раз с раскавыченными цитатами из моего текста — например, в сборнике, изданном журфаком БГУ пару лет назад, статья Ольги Гончарик почти слово в слово воспроизводила главу из моей книги об Умберто Эко (о парадоксах визуальной семиотики — статья, кстати, именно так и называлась); естественно, что ссылок на мою книгу там не было, и тем более естественно, что никто за это не отвечает и плагиат не отслеживает.

<sup>20</sup> Результаты опроса студентов несколько лет назад показали, что и требования студентов к преподавателям не высоки. Лейтмотивом звучала фраза: «Хотим преподавателей знающих и непыющих!»

<sup>21</sup> Лингвистическая поляризация интеллектуалов, навязанная политиками в начале 1990-х гг., привела к тому, что на протяжении последнего десятилетия русско- и белорусскоязычные интеллектуалы существовали как бы в параллельных мирах. Русскоязычные пассивно поддерживали власть (за дарованную «привилегию» говорить на родном языке) — пока не очнулись, увидев, что всех остальных возможностей

и прав, за исключением той самой привилегии, академическая среда уже лишилась. Белорусскоязычные же ушли в оппозицию, как политическую, так и эстетическую, что до какого-то момента было, несомненно, продуктивным (если говорить об «изобретении традиции», то есть о создании современной национальной – не-советской и прозападной – культуры). Необходимо признать, что именно белорусскоязычные интеллектуалы (через журналы *Фрагменты*, *Архэ* и др.) пытались осуществлять функцию критического мышления всеми доступными средствами. Однако со временем обнаружилось, что интеллектуальные подходы, используемые ими, не вписываются в дискурс национализма и патриархальной идеологии, создаваемая ими мифология белорусской нации самому «народу» не очень-то и нужна, для Запада она выглядит как проявление запоздалой модернизации, и к тому же сама идея нации была экспроприрована властью и мобилизована для решения совсем других политических задач. В любом случае, язык не может и не должен быть сегодня источником разногласий, тем более что существуют общие, более важные задачи, требующие консолидации усилий. Быть может, наметившееся недавно движение белорусско- и русскоязычных интеллектуалов навстречу друг другу является признаком новой, изменившейся политической ситуации, которую мы сами, а тем более власть, пока еще не осознаем в полной мере.

<sup>22</sup> Примеров можно привести множество как из повседневного общения в транспорте или на улицах, так и из газет и телевидения. Глава государства, распекая в очередной раз министров на глазах всей телевизионной аудитории, может запросто сказать: «Я вижу, какой у вас тут бардак и что вы все лыка не вяжете», а Павел Якубович, главный редактор *Советской Белоруссии* (СБ) может себе позволить говорить об ученых из Академии наук как о «злых, бездарных, жуликоватых бездельниках», которые «к тому же еще и подлецы». Накануне референдума мне довелось услышать в частной беседе, что надо голосовать за Лукашенко, потому что «волки рвутся к власти». И еще один штрих: недавно я заметила, что опрашиваемые в блиц-интервью люди на улицах, в ответ на вопросы журналистов БТ (на тему оппозиции, цветных революций и т. п.), воспроизводят слово в слово те обороты, которые накануне звучали в передачах вроде «Постскриптума».

<sup>23</sup> См.: Клемперер В. *ЛТИ. Язык Третьего Рейха. Записная книжка филолога*. М., 1998. С. 31, 34.

<sup>24</sup> Клемперер В. Указ. соч. С. 26.

<sup>25</sup> Там же, с. 21.

<sup>26</sup> Клемперер В. Указ. соч. С. 308.

<sup>27</sup> Ленин В. И. *О твердой революционной власти*. Собр. соч. Т. XIV, ч. 1. С. 290.

<sup>28</sup> Клемперер В. Указ. соч. С. 70.

<sup>29</sup> Жижек С. *13 опытов о Ленине*. М., 2003. С. 120.

<sup>30</sup> Официальная пропаганда пытается уничтожить созданного ею же самой политического врага посредством дискурсивной стигматизации. Понятно, что не так страшен черт, как его малюют, однако для нынешней власти такой «малеванный враг» совершенно необходим – за неимением других способов консолидировать нацию. Коллективная идентичность – это негативное понятие, ибо объединяются, как правило, «против» кого-то, а не «за» – как бы ни пыталась это представить лукашенинская пресса, призывавшая всех нас отдать голоса на референдуме «За сильную и процветающую Беларусь». Неслучайно ядро белорусской идентичности – это память о партизанской борьбе.

<sup>31</sup> Уже сегодня можно начать продумывать концепцию музея белорусской истории времен А. Лукашенко, который обязательно появится, и сей документ, несомненно, украсит экспозицию под общей темой «На идеологическом фронте: новости с передовой».

<sup>32</sup> Althusser L. *Ideology and ideological state apparatuses*, in: Zizek S., ed. *Mapping Ideology*. Verso, 1994. P. 112.

<sup>33</sup> Althusser L. Op. cit. P. 104.

<sup>34</sup> Althusser L. Op. cit. P. 130–131.

<sup>35</sup> Клемперер В. Указ. соч. С. 54.

- <sup>36</sup> Несмотря на то что теме *Интеллектуалы и политика* посвящено огромное количество публикаций, я бы, тем не менее, упомянула некоторые из наиболее интересных, на мой взгляд, «коллективных высказываний»: Butler J., Scott Joan W., eds. *Feminists Theorize the Political*. Routledge, 1992; Lacou-Labarthe, Nancy Jean-Luc *Retreating Tbe Political*. Routledge, 1997; Robbins Bruce, ed. *Intellectuals: Aesthetics, Politics, Academics*. University of Minnesota Press, 1990; Borradori Giovanna *Philosophy in a Time of Terror. Dialogues with Jurgen Habermas and Jacques Derrida*. The University of Chicago Press, 2003.
- <sup>37</sup> Фуко М. Указ. соч. С. 175.
- <sup>38</sup> Деррида Ж. *Наконец-то научиться жить* // Вопросы философии, 2005. № 4. С. 133–134.
- <sup>39</sup> Быть открытым для дискуссий в публичном пространстве не значит любой ценой стремиться быть видимым в масс-медиа: нужно иметь что сказать, а не воспроизводить общие места и не превращать публичное высказывание в самоцель. Например, материалы круглого стола о национальной философии, проведенного недавно *СБ*, создают видимость дискуссии, которая на самом деле воспринимается как переливание из пустого в порожнее; здесь речь ничего не стоит – не сложно говорить то, что от тебя хотя бы услышать, то, что заведомо безопасно и плоско. На Западе – другая проблема: интеллектуалы не только регулярно получают доступ к СМИ, но, как отмечает Деррида, многие из них говорят лишь готовыми шаблонами, их речь всегда уже отформатирована («пресс прессы»). Правда, нам до этой стадии еще очень далеко. Мы вспомним об этом, когда придет время.
- <sup>40</sup> Nelson C. *Always already cultural studies: academic conferences and a manifesto*, in: Storey J., ed. *What is Cultural Studies? A Reader*. Arnold, 1996. P. 274.
- <sup>41</sup> Ватимо Дж. Указ. соч. С. 89.
- <sup>42</sup> Жижек определяет его как патологическое удовольствие, извлекаемое истерическим субъектом из самого этого угнетения. (Жижек С. Указ. соч. С. 108.)
- <sup>43</sup> Фуко М. Указ. соч. С. 75.